

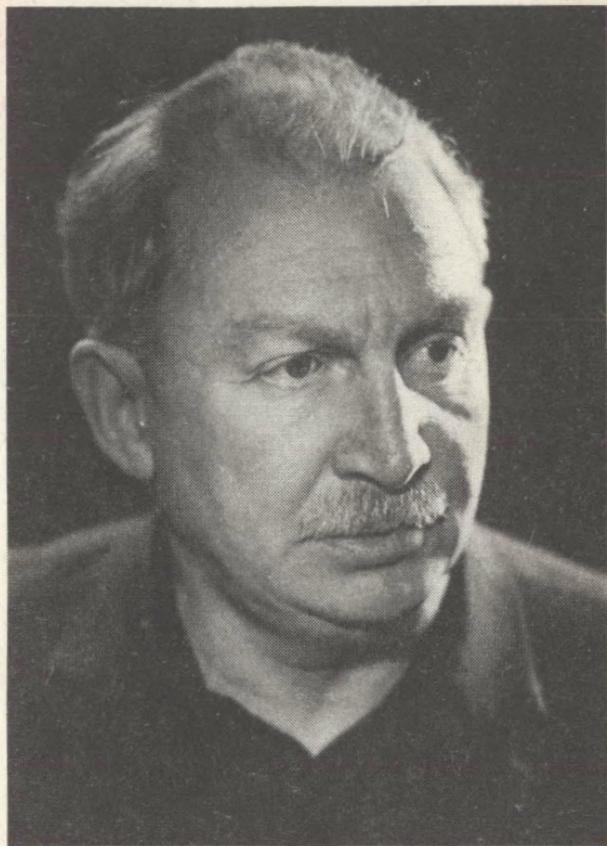
БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

№ 40 1991

ОГОНЁК

МОСКВА



Борис СЛУЦКИЙ

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 40

Издается с января 1925 года

Борис СЛУЦКИЙ

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

Москва. 1991

Борис СЛУЦКИЙ

Борис Абрамович Слуцкий (1919—1986) — русский советский поэт. Дебютировал в 1957 г. книгой стихов «Память», сразу поставившей его в ряд популярных у читателя авторов. При жизни выпустил книги стихов «Время», «Сегодня и вчера», «Работа», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Неоконченные споры», «Сроки», две небольшие книги избранных стихотворений.

С его смертью и с открытием его богатейшего литературного архива началась и продолжается новая полоса его известности — возник как бы «новый» Слуцкий. Многочисленные публикации в прессе, семь книг неизвестных ранее стихотворений показали читателю Слуцкого-автора стихотворного эпоса жизни нашего народа в XX веке, Слуцкого-трибуна, Слуцкого-пророка. Сейчас выходит первое собрание сочинений поэта.

Вместе со стихами к читателю вышли и мемуарные очерки и наброски Слуцкого. Частично они печатались в «Вопросах литературы» и «Огоньке».

ЗНАКОМСТВО С ОСИПОМ МАКСИМОВИЧЕМ БРИКОМ

Первая настоящая книга стихов, которую я прочел по-настоящему, то есть выучил наизусть, был красноватый кирпичик Маяковского. Первым в моей жизни настоящим писателем — О. М. Брик.

Однако все это требует пояснений.

Нашему литературному отрочеству — в Харькове тридцатых годов, — моему, отрочеству Кульчицкого и нескольких людей, забытых более основательно, чем Кульчицкий, полагались свои богатырские сказания, свой эпос. Этим эпосом была история российского футуризма, его старшие и младшие богатыри, его киевский и новгородский циклы.

Не то чтобы мы не интересовались другими поэтами. Интересовались. Впервые в жизни глаза заболели у меня после целосуточного переписывания Есенина с полученной на одни сутки книги. И многое другое переписывалось, зналось наизусть, обговаривалось — тогда это слово еще не начало путешествия из украинского в русский язык.

Однако все остальное было географией зарубежных стран, а футуристы — родиной, отечеством. Родную страну мы изучали основательно.

Сначала стихи Маяковского; потом его остроты — по Кассилю; потом рассказы о нем — по Катаняну; потом мемуарные книги Шкловского и устные сказания.

По городу, прямо на наших глазах, бродил в костюме, сшитом из красного сукна, Дмитрий Петровский. На нашей Сабурке в харьковском доме умалишенных сидел Хлебников. В Харькове не так давно жили сестры Синяковы. В Харькове же выступал Маяковский. Рассказывали, что украинский лирик Сосюра, обязавшийся перед начальством выступить против Маяковского на диспуте, сказал с эстрады:

— Нэ можу.

Камни бросали в столичные воды. Но круги доходили до Харькова. Мы это понимали. Нам это нравилось.

Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт.

Из трех букв его названия меня интересовала только первая. В Москву ехала девушка, которую я тайно любил весь девятый класс.

Меня не слишком интересовало, чему учиться. Важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.

В Московском юридическом институте был литературный кружок. Им руководил О. М. Брик. Я пробыл в кружке без малого два года. Не помню, как часто мы собирались, однако несколько десятков раз я слушал О. М. и несколько раз он слушал меня.

Московский юридический институт только что потерял имя Стучки, догадавшегося помереть лет за пять до этого, притом в своей постели. Многие преподаватели — целыми кафедрами — и многие студенты — исчезли. Исчезли и целые науки, целые права, например, хозяйственное право, разработанное, если не ошибаюсь, Пашуканисом. Науки исчезали вместе со всей людской услугой. Незапланированный смех в большом зале (имени Вышинского) вгонял лектора в холодный пот. Он означал оговорку. Оговорка не означала ничего хорошего.

По пятницам в большом зале (имени Вышинского!) собирались комсомольские собрания и мы исключали детей врагов народа — сына Эйсмонта, племянницу Карахана, племянника Мартова. Исключаемого заслушивали. Изредка он защищался. Тогда в зале имени Вышинского становилось жарко — молодые почитатели Вышинского (это был Суворов института, пример для подражания) выходили на трибуну упражнять красноречие, показывать свежеприобретенные знания.

В таком-то институте О. М. пришлось вести литературный кружок.

Кому кружок был нужен?

Многим.

Тем, кто тренировал ораторские способности на собраниях.

Тем, кто попал в институт случайно, как в самый легкий из гуманитарных — потому что не давалась математика, потому что тайно пописывал и явно почитывал стихи.

Но кружок был нужен и мне. И Дудинцеву — он учился старше меня на курс. И еще трем или четверем, которые вскоре сбежали из гуманитарной юриспруденции в театроведение, в журналистику, в психиатрическую больницу или в привокзальные носильщики.

На лекциях было скучно. На кружке было интересно. Ходило человек 15—20. В 1938 году О. М. было, наверно, около пятидесяти.

Я не помню, как он входил в кабинет, где обычно собирался кружок. Помню его сидящим. Сверху вниз: лысина, протеренная среди тщательно постриженных волос, просторный лоб, очки, за ними серьезные глаза, плотные плечи, хороший костюм, свежая рубашка, тщательный галстук. Он, работавший с самыми буйными и талантливыми головами русской поэзии, сохранил осанку, повадки, педагогику и в кружке, сплошь состоявшем из посредственностей. Однако на этот раз резец обтачивал воздух.

Обычно бывало так: молодое дарование читало стихи (прозу писали один или два человека). Потом высказывались — кто умышленно, в порядке тренировки красноречия, кто неумышленно, искренне.

Иногда я встречаю бывших кружковцев. Козушина — он теперь юрисконсульт, а тогда писал стихи, из которых запомнились строки:

Поезд отходит в девять двадцать.
Надо прощаться. Надо прощаться.
Надо на цыпочки тихо привстать,
Близким и дальним: «Прощайте!» сказать.

Козушин помнит о кружке много больше моего. То была золотая пора его стихописания.

Встречаю Андрея Коробова. Сейчас он заместитель председателя «Инюрколлегии», высуживает у иноземных держав завещанные советским родственникам наследства.

Встречаю Симеса. Он адвокат, специализировался по авторскому праву.

Коробов и Симес были интеллигентными юношами. В кружок они ходили отчасти с тем, чтобы повеселиться. Веселились чаще всего над Кобановым. Михаил Кобанов, толстый и мрачный, писал басни с невытекающей из текста моралью. Кобанов казался дурачком, а потом выяснилось, что он подлинный сумасшедший со справкой.

Помню еще Лаврентьева Леню. Сейчас он военный следователь, полковник, а тогда был знаменит в институте строчками:

Я понял все и не люблю тебя.
Забыть тебя мне ничего не стоит.
И только изредка, в волненье теребя,
Я слабость рук не в силах успокоить.

Был Женя Прянишников, ныне адвокат, очень добрый человек. И у него было знаменитое стихотворение «Почему я счастлив» — на рождение ребенка. Счастлив Прянишников был потому, что

Кроме мужа
Я счастливым стал отцом.

Знаменитую радиопередачу «С добрым утром!» возглавляет Виталий Аленин, тоже бывший поэт, бриковский литкружковец.

Все они зачитывали стихи. Потом они высказывались. Потом Брик резюмировал: вежливо, серьезно, но окончательно.

Он не выделял среди нас никого. Ни на кого из нас не возлагал надежд, со всеми был ровен и внимателен.

Зачем он ходил на кружок, почему не бросил его? Не знаю. Может быть, нужны были деньги, небольшое почасовое вознаграждение. Впрочем, Лиля Юрьевна напомнила мне записанный когда-то Бриком афо-

ризм: «Всю жизнь я делал то, что мне хотелось. Когда за это платили, я говорил «Спасибо».

Стало быть, хотелось Брику возиться с нами грешными.

В те годы он много занимался Тургеневым, о котором, кажется, ничего не написал. Смутно помню о какой-то работе для кино, кажется, о лечении чьих-то безнадежных сценариев.

Публиковаться Брик тогда совсем перестал. После двух десятилетий работы с большими умами и большими безумиями Осип Максимович возился с посредственностями.

Я был среди тех кружковцев, кто высказывался и веселился. Отпирался, что пишу стихи, и впервые прочел их только осенью 1939 года на третьем году хождения к Брику. Но это тоже требует дополнительных пояснений.

Серьезно читать стихи я начал рано, лет в 10—12. Seriously писать — поздно, лет в 18, под влиянием все той же любви, которая вытолкнула меня в Москву. Я писал и понимал, что пишу плохо. Не обольщался, не искал слушателей, почти единственным моим читателем года три подряд был Миша Кульчицкий, разделявавший меня на все корки.

Хорошо я жил в те годы — 37-й, 38-й, 39-й! Стипендия 120 рублей плюс 50 из дому. Обедал раз или два в месяц — питался булками, тогда еще именовавшимися французскими. И беконом, разрезанным столь тонко, что хватало надолго. Чай — без заварки, но с карамелью. Температура в общежитии — не выше 9 градусов всю зиму. От общежития до института — 23 трамвайные остановки. Первые десять остановок кондукторша не решается требовать у студентов покупки билетов. В институте бледные профессора читают бледные курсы наук. Я почти сразу понял, что юриспруденция мне ни к чему. Н. разонравилась, как только я присмотрелся к московским девушкам. Бронхиты, плевриты, воспаления надкостницы. Процессы в легких. Процессы в газетах.

В 37-м, 38-м, 39-м годах у меня не было ничего, кроме заплатанного ватного одеяла и стихов, которые я писал все время: в трамвае — все 23 остановки, в институте — все лекции, в общежитии — ночью, в коридоре, чтобы не мешать пятерым соседям по комнате.

Я писал стихи и показывал их Кульчицкому — в Харькове на каникулах.

Брику я стихов не показывал — стыдился. Тогда я уже хорошо знал, кто такой Брик!

Его статьи я прочел много позже. Его «Болотников» мне не нравился. И тем не менее я хорошо понимал, кто такой Брик.

В стене литературы кирпичи — кирпичи. Но стена не встанет без цемента, скрепляющего кирпичи, и без архитектора, придумавшего стену.

Брик был цементом и был архитектором. Я это хорошо знал. И все, знавшие Брика (точнее, все, кто поумнее), знали, что он цемент и архитектор.

К лету 1939-го у меня было два с небольшим года: литературного стажа и двадцать с небольшим стихотворений, аккуратно переписанных в небольшую книжку в черном кожаном переплете. Эту-то книжку я стыдился показывать О. М. и не показал бы, если бы не Кульчицкий.

Слушая привозимые мной из Москвы стишки, Кульчицкий мрачнел от каникул к каникулам, снисходительность его блекла, и однажды он сказал, что в Москве, наверно же, другой воздух, потому что настолько менее, чем он, даровитый поэт пишет настолько более интересные, чем у него, стихи.

Кульчицкий был самолюбив, но свое будущее он любил больше своего настоящего.

В самом конце августа 1939 года мы выписывали с ним из московской телефонной книги адреса знаменитых поэтов — в алфавитном порядке. В Литературный институт, куда Кульчицкий решил переводиться, нужна была рекомендация.

Сперва мы пошли к Асееву. Его не было дома.

Алтаузен — табличку мы прочли в том же подъезде — открыл дверь на наш звонок (помню, совершенно голый и черно-волосатый) и сказал нам, что он работает. Потом мы пошли к Антокольскому. Он выслушал Кульчицкого, изругал его и охотно дал рекомендацию. Потом попросил почитать меня — сопровождающее лицо. Восхвалил и дал рекомендацию. Через сутки я был принят в Литературный институт и целый год подряд гордился тем, что получаю две стипендии — писательскую и юридическую.

В сентябре 39-го года кружок МЮИ заслушивал меня — торжественно и многолюдно, поскольку способности мои были удостоверены государством. Я не помню, что сказал О. М. Наверное, стихи ему не понравились. Конечно, ничего обидного. Конечно, был вежлив. Интересно Брик говорил о том, что его интересовало.

Я перестал быть литкружковцем Брика. Три или четыре месяца спустя наши встречи возобновились на территории Лили Юрьевны.

В этих мемуарах, пожалуй, слишком мало про Брика и слишком много обо мне. Но я помню некоторые разговоры с О. М.

Однажды я вычитал у кого-то из формалистов (наверное, у Шкловского), что новый поэт обязательно оспаривает и разрушает формы старого поэта и канонизирует младшие линии. Значит, нам с товарищами придется разрушать форму Маяковского. Это умозаключение я решил проверить у Брика. Он ответил, что литературные революции бывают редко и моим товарищам предстоит осваивать завоеванные футуристами территории, а не захватывать новые. Это нам все понравилось. Мы хотели захватывать.

Рассказ Брика о Безыменском, — тот прослышал, что стихи «Горе от

ума» стали пословицами, и решил навывдумывать побольше пословиц, а потом приписать к ним комедию («Выстрел»).

Рассказ о Луначарском, о его творческом методе: целый день трудиться в Наркомпросе, а пьесы писать по ночам, когда мозги не варят. Брика (и, по его словам, Маяковского) очень веселили пьесы, написанные неварящими мозгами.

Сцена, коей я был случайный свидетель.

Лестница Литературного института, большая перемена. Встречаются О. М. и Сельвинский. Оба держат в руках только что вышедшую книгу стихов Эренбурга. Взаимно ухмыляются. Открывают книги, каждый свою. Показывают друг другу рифмы Эренбурга. Расходятся.

Битвы с конструктивистами тогда еще были свежи в памяти. Однажды, провозжая Сельвинского домой, я спросил его (видимо, в слишком общей форме): — Какой был Маяковский? — Сельвинский ответил: — Маяковский был нахал.

За столом у Лили Юрьевны я из тех же человековедческих интересов после многих иных тостов поднял рюмку за Сельвинского. Произошло недоумение, но Лиля Юрьевна выпила со мною и Кульчицким, сказав: — А что же, Сельвинский талантливый поэт, — и что они дружат.

Брик очень ценил Кульчицкого, выделял его из нашей компании. На семинаре, который он вел, Кульчицкому было устроено особое чтение и обсуждение. Брик особенно хвалил строку из стихотворения о Пастернаке: «Стыд рожденья звезд» и высказывался в таком духе, что Кульчицкий гораздо лучше Слуцкого.

О. М. рассказывал, что Булгаков читал во МХАТе пьесу «Заговор». В первом действии заговорщики сговаривались. Во втором они убивали Сталина. В третьем рабочие московских заводов отбивали у них Кремль. В четвертом действии был апофеоз. Труппа молчала, бледная. Секретарь парткома позвонил. Булгакова забрали — здесь же, в театре, — но скоро выпустили.

Это был один из очень редких разговоров на политические темы с человеком другого поколения.

Как себя чувствовали эти поколения тогда, в 37-м, 38-м, 39-м? О чем думали, чего боялись? С нами об этом разговоров не велось. Впрочем, был еще один рассказ О. М. — о слухах, что Балтрушайтис выслан из Москвы за то, что пытался помочь Бабелю и Мейерхольду уйти в Литву.

На войне, в самом ее конце, я получил письмо от Лили Юрьевны о том, что Брик умер. К тому времени у меня уже выработалась привычка к смертям, ежедневным и массовым.

Однако очень жалко мне стало Осипа Максимовича — что-то отломилось от меня самого.

КАК Я ОПИСЫВАЛ ИМУЩЕСТВО У БАБЕЛЯ

В 1938 году, осенью, я описывал имущество у писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Это звучит ужасно. Тридцать без малого лет спустя я рассказывал эту историю старшей дочери Бабеля, и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса, а не от чего-нибудь иного.

На самом же деле все происходило весело и безобидно.

Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось присутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — все это в первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:

— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключил договора со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?

— Как фамилия жулика? — спросил я.

Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:

— Бабель, Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика.

К тому времени, к сентябрю 1938 года, я перечел нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз. К тому времени я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. 23 трамвайные остановки отделяли Алексеевский студенческий городок от улицы Герцена и Московского юридического института. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях.

Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них поет.

У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.

В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество.

Много лет спустя я снова побывал в этой квартире и запомнил ее — длинную, узкую, сумрачную.

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель.

Мы ходили по комнатам. Сколько их было? Две или три — не помню. В комнатах было чисто и так пусто, как будто все имущество, кроме не подлежащего описи, вывезли накануне. Старик был недоволен, а я кипел от дурацкого восторга, от соприкосновенности к Бабелю Исааку Эммануиловичу, не выполняющему договора и укрывающему от описи имущество.

Вдруг старик ухмыльнулся и вздел очки на лоб.

— Картина! Подлежит описи. Художественную ценность имеет? Ты в этом понимаешь?

— Не имеет никакой художественной ценности, — радостно ответил я, покуда перед моими глазами замоталось что-то зеленое и белое, а может быть, и черное. Какие картины могли нравиться Бабелю? Какие художники? Наверное, он понимал в этом деле, как и во многих других делах. А я не понимал в живописи. Судебный исполнитель тоже не понимал. Картина осталась висеть на стене, а мы с пустыми руками возвратились в Молотовскую районную прокуратуру города Москвы.

Это было в 1938 году, в самом конце сентября. Тридцать седьмому году шел уже 21-й месяц, и еще по крайней мере семь-восемь месяцев осталось у Бабеля — ходить по московским улицам, заключать договора с киностудиями, укрывать от описи свое имущество.

Какая-то невидимая черта, неизвестно кем проведенная, но прочная и надежная, как линия фронта после полугодовой обороны, отделила меня от тридцать седьмого года. Бабель оказался по ту сторону черты.

ВЕЩМЕШОК

На следующую войну я буду собираться умнее.

Но 13 июля 1941 года, когда я городским транспортом (употребление такси нам было мало известно; брали его только в складчину на четверых, когда опаздывали в институт в серьезные, послеуказные дни 1939-го, если не ошибаюсь, года — за любое опоздание газеты грозили судом) поехал на Курский вокзал, в моем чемодане были только вещи ненужные, непонадобившиеся. А именно:

Однотомник Блока в очень твердом домашнем переплете. Всю жизнь я собирался прочесть «Стихи о Прекрасной Даме» и думал, что на войне выберу для этого время и настроение. Не выбрал (как, впрочем, и после войны).

Однотомник Хлебникова в твердом издательском переплете. Хотел прочитать его «как следует». На войне не успел, а после войны — успел.

Эти два толстых и твердых, как железо, переплета почти обесценили мой вещмешок (куда вскоре переключевали вещи) как подушку. Проще оказалось подкладывать под голову полено.

Две прекрасные капиталистические рубашки, привезенные мне за год до этого Петей Гореликом из Западной Украины. До войны я их не носил, жалел. А на войну взял с собой. Это было едва ли не самое нравящееся мне имущество.

Вещмешок достался через несколько дней противнику. Книги мои выбросили, а рубашки поддевал под китель какой-нибудь немец. И похваливал.

Так мне и надо было. За глупость.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Потомки разберутся, если у них будет время, желание, досуг и, как теперь говорят, бумага.

А пока нужно и самому про себя сказать.

«Ты про себя скажи!» — кричали на партийных собраниях в ЦК профсоюза коммунальников. Я там состоял на учете лет 6 после войны как направленный райкомом инвалид войны. Сначала как инвалид, потом просто как нигде не служащий, не состоящий.

Где я только не состоял!

И как долго не состоял нигде!

В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, рассказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека.

— А кто он такой?

— Никто.

— А где он работает?

— Нигде.

— А где живет?

— Нигде.

И так было десять лет — с демобилизации до 1956-го, когда получил первую в жизни комнату тридцати семи лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев, — до 1957-го, когда приняли меня в Союз писателей.

Никто. Нигде. Нигде.

Может быть, хоть потомки учтут при оценке моих мотивов?

Мемуаристы не учитывают. Вчера Дезик читал мне свой мемуар со всем жаром отвергнутой любви, со всем хладом более правильно прожитой жизни.

Не учитывая.

Сколько у меня шансов было — это я сам знаю. Больше никто. Сколько козырей, сколько возможностей. Хотел распорядиться ими по-лучше.

Как уж вышло.

Об интересных человеках.

— С кем ты сейчас дружишь? — спросил меня Зейда в 1948 году.

— Да есть интересные люди.

— Ты учти, интересными людьми многие инстанции интересуются.

Осенью 1952 года вызывают меня в райком. Третий секретарь — Прозорова. Лицо приятное, усталое. Сорокалетняя женщина, вроде директрисы средней московской школы.

— Как это вы столько лет не работаете?

Посмотрел. У нее на столе — радиопрограмма.

Говорю:

— Вот во вторник моя радиоконпозиция идет по первой программе. Фамилия там напечатана. А в субботу радиоочерк.

Проверила. Отпустила.

Фамилию мою в радиопрограмме печатали редко — раза через три. А на этот раз так случилось. В одной программе — дважды.

Отпустила.

Тучи несколько раз сгустились прямо над головой. И гром гремел. И молния была. Но неточно. По соседству.

Интересовались мной разные интересные люди. Вызывали других интересных людей. Спрашивали.

Особенно интересовались моими рассказами о Югославии. Время было такое. Разрыв с Тито. Но о Югославии я рассказывал объективно. Не обобщал. Только факты.

Вообще я старался рассказывать объективно. Только факты. Слушали меня с удовольствием. Девушки говорили: ты хорошо истории рассказываешь! И в самом деле, это были истории по Геродоту. Без вранья, но с литературной отделкой.

Когда истории рассказываешь по многу раз, они меняются, становятся впечатляющей, отточенной. В худшую сторону меняются.

Я это заметил и рассказывать перестал. И так, в некоторых случаях, не помню, что видел сам, а что рассказалось.

Мемуарист должен быть страстен и несправедлив. Чтобы не скатиться к объективизму.

Я от природы не слишком страстен и сравнительно справедлив. К объективизму качусь с удовольствием.

Прочитав книгу Надежды Яковлевны, долго высказывал ей претензии по линии мандельштамоцентризма и несправедливости к той среде, которая много лет эту семью питала в прямом смысле. Не без риска. Надежда Яковлевна слушала со злобной сдержанностью.

Еще ораторствуя, я понял, что кругом не прав. Ведь мемуары не история, а эпос, только без ритма. Разве эпос может быть справедливым?

Мне пришлось, довелось переводить сначала албанский эпос, а потом сербский. Одни и те же события, излагаемые с мусульманской точки зрения и с православной.

Я буду, конечно, все излагать со своей точки зрения. Но постараюсь, чтобы пылу было поменьше.

Еще один подход к мемуарам у Эренбурга. Он говорил, что хочет вспоминать только о хороших людях. Это уже сознательная деформация мира.

Н. А. Заболоцкий говорил не то о Пастернаке, не то о Шкловском, не то о них обоих:

— Люди это замечательные, но когда кончают рассуждать, я прошу, чтоб повторили по порядку.

По какому порядку?

.. Я предпочитаю порядок «Столбцов» порядку «Горийской симфонии».

Тот же Н. А. как-то сказал:

— Я долго относился к вам с подозрением, потому что вам слишком нравятся «Столбцы».

Да, слишком. И ему самому они всю жизнь слишком нравились. А-к тем, кому они нравились мало, он относился не подозрительно, а плохо.

Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками. 1946—1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948—1953, когда я постепенно оживал.

Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения.

Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных. Где они теперь?

Потом еще за долгие недели — первое с осени 1945 года нескладное стихотворение «Солдаты шли».

Стихи меня и столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства.

Как инвалид Отечественной войны второй группы, я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве нет. Но у меня с войны еще оставались деньги.

Я старался не жить в Харькове. В Харькове был диван, на котором я лежал круглые сутки, читал, скажем, Тургенева. Прочитав страниц 60 хорошо известного мне романа, скажем, «Дым», я понимал, что забыл начало. Так болела голова.

Гудзенко незадолго до смерти повстречался мне на улице — на Театральной площади — и сказал:

— Раньше я тебе никогда не верил, что у тебя все время болит голова. А теперь верю.

Это было в 1952 году. Голова у меня в ту пору болела уже меньше.

Вообще Харьков был диван со своими удобствами. Там я мог залежаться окончательно. Жил бы дома, питался бы, как тогда говорили, с родителями, ходил бы на книжные развалы, прирабатывал бы в областных газетах и скорей всего в 1949 году разделил бы судьбу своих преуспевавших товарищей, тогда космополитизированных.

В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном.

В Москве «натура, нүжда и враги» гнали меня, как Державина, на Геликон. И загнали.

У моих московских товарищей были московские квартиры и московские родители — у Дезика, у Наровчатова. Я снимал комнаты 11 лет. Комната стоила, как правило, 400 рублей в месяц. Я зарабатывал — почти исключительно на радио — в среднем 1500 рублей.

Собственно, не в среднем, а 1500 — сколько бы ни работал. Какая-то невидимая рука держала меня вблизи от этой цифры, много ли я работал или мало. И я стал работать мало. Для заработка.

Стихи я тоже писал мало. Весь мой запас, накопленный в 1948—1952 годах, — два или три десятка главным образом баллад с концовками. Я их знал наизусть, от строчки до строчки, и читал часто с удовольствием.

Все написанное до середины примерно 1956 года я знал наизусть. А потом стал писать много, стал записывать не только выхоженное по многим улицам, стократно проговоренное вслух, но и пробы, эскизы, этюды, наброски, и стал помнить выборочно, что получше. Потом, когда

перестал читать в компаниях и не стал читать на эстрадах (почти), запомнил очень немного — одно или два стихотворения в год.

В компаниях мои стихи впечатляли (тоже термин времени), с эстрады — не впечатляли. Я относился к той редкой категории, которую на вечерах встречали лучше, чем провожали. Встречали за репутацию, а это было время моей наибольшей известности. Провожали за только что услышанное с недоумением, что оно понравилось меньше, чем ожидали.

Твардовский в Париже спросил у меня, знаю ли я наизусть свои стихи, и с гордостью сказал:

— А я знаю все четыре тома, и стихи, и прозу.

Впрочем, на вечере в «Мютюалите» он был единственным из нас, читавшим стихи по книжке. Волновался.

Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью.

Потом было несколько слав, куда больших, но первой была моя глухая слава.

До меня все лавры были фондированные, их бросали сверху.

Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках.

Ахматова сказала мне о стихотворении «Бог»:

— Я не знаю дома, где бы не было этого.

А она все время думала про славу, свою и чужую, и понимала в ней толк. Она хотела сказать мне приятное: слишком много приятного говорил ей я. Но кроме того, она ревновала. И мне было сладко на душе.

И посеячас люди, которым в 1956 году было 18, 20, 25 лет, говорят мне:

— Как мы вас любили. Как мы вас читали.

Всегда в прошедшем времени.

С конца 1948 года по конец 1952-го главные деньги я зарабатывал в Радиокomitee, в отделе вещания для детей и юношества. Радиокomпозициями.

В огромной комнате на Путинках сидело за столами двадцать, а может быть, тридцать женщин в возрасте от 20 до 60 лет — редактрисы.

У каждой свой стол. Когда приходил интересный автор, соседние столы утихали — послушать.

В Москве тех лет, где было мало журналов, мало издательств, где в год выходило 10—12 поэтических сборников, а переводных романов столько, что все интеллигентные читатели читали все переводные рома-

ны, в Москве тех лет в Радиокomitee можно было получить работу. Здесь меньше платили, но меньше и присматривались к автору, меньше было анкет и проверок.

Я пришел на радио едва ли не с улицы, с какой-то легкой рекомендацией, вроде звонка Жоры Рублева, и первые шесть заказанных мне статей не пошли, как потом объяснили — ко мне присматривались.

Седьмая статья пошла. Надо бы вспомнить, о чем именно.

Сначала я писал для иностранных редакций — венгерской, финской, иранской, корейской. Темы иногда выдумывал сам. Например, вычитал где-то, что иллюстратор Руставели Зичи был венгерским графом. Пошел в библиотеку Третьяковки, прочел что-то, написал четыре или пять страниц — «Зичи в Третьяковке». Пошло. Заплатили 400 или 500 рублей, четверть моего месячного бюджета. Чаше статьи заказывались. Я писал о социальном обеспечении, народном образовании, здравоохранении — и об иных ведомствах, в списках Совета Министров занимавших места поближе к концу.

Нашел я себя (тоже термин той поры) на радио в детском отделе.

Там уже подвизалось несколько знакомых литераторов из тех, кого, подобно волку и мне, кормили ноги. Там была знакомая редактриса — Вика Мальт, знакомая еще по дому Павла Когана.

Вика заказала первую композицию и представила другим редактрисам:

Принцип жанра радиокomпозиции тот же, что и жанра окрошки.

Имеется тема: например, рассказы советских людей о зарубежье. Производятся разыскания в газетах, центральных и местных, в немногих выходивших тогда книгах, как теперь бы сказали, Географгиза. Кое-что сокращается, кое-что переписывается. Подыскиваются музыкальные прокладки. Например, после рассказа о Сингапуре следовало употребить малайскую песню, естественно, грустную. Однажды песню я написал сам и композитор Григорий Фрид положил ее на музыку. Она называлась «Матросы возвращаются домой», была вставлена в композицию и оплачена отдельно в размере четверти месячного бюджета.

Квас в этой окрошке — всякие связки, переходы, требующие некоторой литературности, — сочинял я сам.

Платили за композицию — она длилась около часа и слушали ее десятки миллионов — от полутора до двух тысяч тогдашних легких рублей.

Это и был мой месячный бюджет. Постепенно выяснилось, что делаю я одну композицию в месяц или две, деньги платят примерно одни и те же. Выписывал деньги начальник отдела Иван Андреевич Андреев, известный, между прочим, тем, что, прочитав статью Привса о Сталине, глубокомысленно сказал: — А кто он такой, чтобы писать о великом Сталине? — и зарезал статью. Обо мне Андреев, по-видимому, думал, что такой должен получать полторы-две тысячи рублей в месяц. Не больше и не меньше. И выписывал мне именно эту сумму.

Сделанное мною финансовое открытие привело к тому, что я сократил усилия до минимума. Творческий дар напрягать приходилось мало, а техническую работу делал Исая Кузнецов — будущий драматург и бывший актер арбузовской студии, мой постоянный соавтор.

С деньгами обстояло именно так, а славы композиции не давали. Собственно, фамилия моя в эфир проходила аккуратно: автор композиции такой-то. Но ее почему-то забывали. Сработав за четыре года примерно сотню вещей, я к ноябрю 1952 года обнаружил, что все это не считается, что никто меня не знает и никому я не нужен.

В ноябре 1952-го, вернувшись из Харькова, куда ездил недели на три — подкормиться на домашних хлебах, я был отозван несколькими редактрисами-работодательницами, отношения с которыми уже давно приняли приятельский характер. Мне доверительно сообщили, что на очередной летучке Андреев зачитал список авторов с фамилиями вроде моей и сказал, что их привлекают слишком часто.

Редактрисы кулуарно пытались выяснить у Андреева, можно ли привлекать названных реже.

— И реже не надо.

— А иногда?

— Никогда не надо.

В списке было человек двадцать, среди них Иорданский и еще кто-то, влетевший туда потому, что культуры антисемитизма у проверявшей отдел комиссии не было.

Я перестал работать для радио и примерно на полгода лишился всяких заработков. Дело было в ноябре 1952-го и врачи-убийцы уже были близки к поимке.

Однако вернемся к тем четырем годам, когда от двух до четырех раз в неделю я проводил от двух до четырех часов на Путинках.

Время было глухое, нервное, опасное. Однажды, не помню уже, как и почему, я провел два часа в кабинете председателя Комитета Пузина. Видимо, ожидал утверждения композиции.

Пузин и его приближенные слушали у приемника трансляцию футбольного матча СССР — Югославия. Дело было, наверное, в 1950 или 1951 году. За качество трансляции отвечали они. Сам матч был очень символичен для наших отношений с Тито.

В футбол мы проиграли, и, хотя говорилось тогда в кабинете очень мало, мрачность, подавленность была очевидна.

Композиции тем не менее приходилось делать мажорные.

Главная моя тема была: сторонники мира. Почему? Может быть, сказался небольшой мой международный опыт, может быть, пошел я по этой стезе потому, что промышленность или сельское хозяйство знал куда хуже, может быть, тема казалась мне чистой.

Народы действительно хотели мира. Я хотел мира. Весь мир хотел мира.

Впрочем, что говорить, не принимал я близко к сердцу эту тему и все свои радиозаработки:

Работа в оттепель и заморозки,
работа не сходя со стула.
Все остальное просто заработки,
по-русски говоря, халтура.

Я за нее не отвечаю,
все это не моя забота.
Я просто деньги получаю
за заработки на работу.

Написано это, судя по слову «оттепель» с его четкой временной меткой, позже. К четырем радиогодам относится полностью.

Я и к 70-летию Сталина сделал заказанную мне (или мне с Кузнецовым) композицию. Доверяли, значит, если заказали такую тему, по которой и материалов-то почти никаких, как выяснилось в ходе работы, не было. То есть о любви к Сталину материалов было предостаточно, а о предмете любви — почти ничего. В композиции (она своевременно прошла в эфир и принесла мне 1500—2000 рублей) было много про любовь и мало про Сталина.

Любил ли я тогда Сталина?

А судьбу — любят? Рок, необходимость любят?

Лучше, удобнее для души — любить. Говорят, осознанная необходимость становится свободой. Полюбленная необходимость тоже становится чем-то приемлемым и даже приятным.

Ценил, уважал, признавал значение, не видел ему альтернативы и, признаться, не искал альтернативы. С годами понимал его поступки все меньше (а во время войны, как мне казалось, понимал их полностью). Но старался понять, объяснить, оправдать. Точного, единственного слова для определения отношения к Сталину я, как видите, не нашел.

Все это относится к концу 40-х годов. С начала 50-х годов я стал все труднее, все меньше, все неохотнее сначала оправдывать его поступки, потом объяснять и, наконец, перестал их понимать.

Недавно, то есть лет через двадцать после всего вышеописанного, Лида Б. рассказывала, каким я казался тогда на радио: подтянутым, веселым, тзинственным.

— Мы думали, что вы разведчик и скоро уедете за границу, а к нам приходите так, от делать нечего.

Между тем в баню я ходил тогда только в высший десятирублевый разряд, потому что и в Сандунах, и в Центральной по приемлемым ценам гладили костюм и стирали белье во всем его многообразии, что составляло немалую экономию...

К ИСТОРИИ МОИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Начну с «ЛОШАДЕЙ В ОКЕАНЕ».

Написаны в 1951 (?) году летом в большую жару. Я снимал тогда комнату близ Даниловского рынка у интеллигентного переплетчика Терушкина, купившего часть дома, в котором жили Фрейдины. Иными словами, жил по месту прописки — единственный раз за 11 лет. Обычно, когда участковый приходил к Фрейдиным и спрашивал: — А где Слуцкий? Что-то я его не вижу, — один из сыновей назывался Слуцким, и тем дело кончалось.

Итак, я жил по месту прописки, но комната была жаркая, а на кровати лежал матрас со стальными пружинами особой конструкции, такими, что спать было невозможно. Рядом учил уроки Анри Терушкин, мальчик, сын хозяина.

Я уходил из дому и подолгу бродил в окрестностях, где тоже было жарко, но ни Анри, ни матраса, который надо было разлежать собственной спиной, не было.

Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике. Жора вычитал это в каком-нибудь тонком международно-политическом журнале вроде «Нового времени», откуда обычно черпал вдохновение.

Я начал писать с самого начала со строк: «Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко» — и очень скоро (а в те годы я писал еще очень медленно) написал все. Правил после мало.

Это почти единственное мое стихотворение, написанное без знания предмета. Почти. В открытое море я попал впервые лет 15 спустя. Правда, как плавают лошади, наблюдал самолично, так как ранней весной 1942 года переплыл на коне ледовитую подмосковную речку.

Это сентиментальное, небрежное стихотворение до сих пор — самое у меня известное.

Даже Твардовский, хвалить чужие стихи не любивший, сказал мне (в Париже, в 1965-м), что он эти стихи приметил: — Но рыжие и гнедые — разные масти.

Даже Смеляков, рассуждая о том, как составлять циклы для антологии советской поэзии, в числе других примеров привел: — Ну, у Слуцкого надо взять «Лошадей в океане», «Физиков и лириков», еще что-нибудь.

Стихи так нравились Эренбургу, что я их ему посвятил.

Когда я, познакомившись с Марьей Степановной Волошиной, читал ей и Анчутке о лошадях, она сказала, что это настоящее христианское стихотворение.

Когда (наверное, в 1952 году) читал стихи Н. С. Тихонову, он сказал, что печатать ничего нельзя, разве «Лошадей»: — Знаете, как у Бунина о раненом олене: «Красоту на рогах уносил?»

Напечатал «Лошадей» Сарнов в «Пионере» (в 1956 году, наверное), как детское стихотворение о животных. Это обстоятельство тогда весело моих знакомых. Вскоре Вадим Соколов и Атаров (последний с большими идеологическими сомнениями) перепечатали «Лошадей» в «Москве», и потом их перепечатывали десятки раз.

Я знаю четыре польских перевода, несколько итальянских. На «Лошадей» написано несколько музык. Говорят, нищие пели их в электроричках.

На вечерах первые строки иногда встречались хохотком публики, медленно привыкавшей к нешуточному повороту дела.

Мне до сих пор понятны только внешние причины успеха — сюжетность, трогательность, присутствие символов и подтекстов. Это никак не объясняет успеха стихотворения у квалифицированного читателя.

«Лошади» — самое отделившееся от меня, вычленившееся, выломавшееся из меня стихотворение.

Р. С. Умер Аркадий Васильев, интересовавшийся всем на свете, в том числе и поэтами. После первого инсульта (а умер он, кажется, от третьего) у него отнялся дар речи, столь ему необходимый. Врачи посоветовали ему повторять до бесконечности какое-нибудь хорошо ему известное стихотворение.

— Я, знаешь, твоих «Лошадей» наизусть помню. И вот начал я их твердить, сначала медленно, потом все быстрее.

Рассказывал мне это Васильев еще заплетающимся языком. Позднее дар речи вернулся к нему почти полностью и он широко им пользовался.

Беляев, вызвавший меня к себе по непростому делу, предварил сложный разговор рассказом о том, как его дочь читала «Лошадей» в океане» на выпускном вечере и как всему его семейству эти лошади нравятся.

Поговорив о лошадях и о дочерях (я, помнится, не посоветовал отдавать дочь в Литинститут), мы приступили к делу.

Последуем совету Смелякова и «возьмем».

«ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» тоже не совсем мое, тоже отделившееся от меня стихотворение. Написано летом 1960 (?) года в лодке на Оке близ Тарусы, где мы с Таней мучились от жары и мух.

Катали на лодке нас Андрей Волконский с женой Галей Арбузовой. Волконский говорил без передышки, желчно, как космополит из «Крокодила», ругал литературу своих тестей, Арбузова и Паустовского, а потом, разошедшись, — до Л. Толстого включительно. Говорил о своем происхождении, о том, что «Таруса была наша» и т. п.

Я сперва прислушивался, спорил, жалел Галю, а потом под шум мотора и Волконского написал стихотворение и очень опасался, что забуду

его до берега, не запишу. Потом все жарили рыбу, а я быстро записал в блокноте.

Проблема была животрепещущей, как эта же рыба. Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эрнбургом.

М. А. Сулов, принимая Илью Григорьевича, сказал ему между прочим: «Спасибо, что защитили ветку сирени». Мнения разошлись едва ли не в глобальных масштабах, и я поддержал в споре не Илью Григорьевича, а его противников. Он отнесся к этому со сдержанным недоумением.

Товарищи по ремеслу сперва отнесли к «Физикам и лирикам», как к оскорблению профессии. Миша Дудин, когда ему сказали, что стихи шуточные, сказал: «А мы шуток не понимаем». Смеляков, когда его попросили выступить в печати, сказал примерно так, что с этим нужно бороться, но стихами.

Защищали «Физиков и лириков» лениво, похоже, что больше отстаивали право на мнение, пусть неправильное, чем само стихотворение. Ругали горячо, зло.

Между тем не слишком политический шум этой дискуссии, поднятый в слишком политическое время, был безобиден и даже полезен.

Постепенно к «Физикам и лирикам» привыкли. Пьеса с тем же названием до сих пор идет в Москве, и на премьеру меня не позвали. Ашукины включили название стихотворения в свой сборник «Крылатых слов», и это единственный мой оборот, удостоенный такой чести.

Напечатал стихи С. С. Смирнов в «Литгазете» с двумя довольно плохими стихотворениями о космосе, данными мной для подверстки и прикрытия.

В академической «Истории советской литературы» всему этому посвящен абзац или два, но библиография вопроса насчитывает сотни названий.

В разгар спора академик В. В. Шулейкин, специалист по физике моря (говорят, не очень большой специалист), прислал мне длинное рифмованное утешение: не так, мол, уж плохи дела у вашего брата, поэтов.

Сейчас, в 1972 году, летом в большую жару, в ивантеевской гостинице, я продолжаю думать, что дела у нашего брата достаточно плохи. Сократилась доля общественного внимания, получаемая нашим братом, да и распределяется эта доля хуже, чем прежде. Основные ломти получают не глубочайшие, а шумнейшие.

Впрочем, как и многое другое, «Физиков и лириков» писал я не столько от себя, сколько от людей примерно моего мнения.

К слову о «Крылатых словах»: Крученных как-то сказал мне (скорее всего на улице), что в очередном издании книги Ашукиных всего два крылатых оборота современных поэтов:

— Мое — «заумь» и Михалкова — «Союз нерушимый республик свободных...». Мое лучше.

«ГОСПИТАЛЬ» в моей литературной судьбе имеет чрезвычайное, основополагающее значение. На этом стихотворении я, собственно, и выучился писать. Сочиненная примерно за год до этого «Кельнская яма» тоже стихи, но сочиненные как бы сами по себе, по вдохновению, и притом сразу, в одну ночь. А «Госпиталь» задумывался, выстраивался, писался, переписывался в течение многих месяцев, точнее говоря, лет. На нем понято мною больше, чем на любом другом стихотворении, и долгие годы мне хотелось писать так, как написан «Госпиталь», — «взрыв, сконцентрированный в объеме 40 ± 10 строк». Весь мой лихой набор скоростных баллад пошел именно с «Госпиталя». В «Кельнской яме» тема (война) уже была, отношение к теме тоже было, но формы не было.

Первый вариант написан осенью 1945 года в румынском городе Крайове, где я на свой лад отдыхал после войны и праздновал ее окончание. Стихов я до этого декабря (а может быть, октября, надо вспомнить) не писал больше года; после этого месяца, когда были написаны еще «Иваны» (сразу, в румынской бане, где вместе мылись наши и местные с похожими шрамами и телесными деформациями) и стихотворение об адвокате Зарудном, которое я не перечитывал, после этого месяца — еще три года.

Летом того же 45-го года я записал две общих тетради заметок, мемуаров, как я их называл, — тоже о войне и о первых послевоенных месяцах.

Самочувствие было удовлетворительное, сносное, настроение хорошее, питание обильное. Окончание войны сразу взяло нас на все виды довольствия. Делать было почти нечего. Работа, придумываемая начальством, фронтовым или московским, не отягощала. Жизнь кругом была острая, странная. Случались случаи, происходили истории, а сектор обзора был достаточно велик. Читал в то время вволю и Цветаеву, и Ходасевича, и «Конницу» Эйснера. Может быть, отзвуки этого чтения промелькнули и в «Госпитале»?

Место действия стихотворения — полевой госпиталь, поспешно оборудованный в сельском клубе, за несколько лет до этого неспешно оборудованном в сельской церкви — не выдуманно. В такой именно госпиталь меня привезли вечером 30.7.1941 года с ранением в плечо. Здесь я провел ночь под диаграммами труда, висевшими на незамазанной церковной живописи. Здесь ждал и дождался операции — извлечения осколков. Никаких пленных немцев в то время в госпитале не было. Вообще пленный немец (кроме сбитых летчиков) в ту пору был большой редкостью. Зато я их видел позднее, когда немецких раненых часто помещали вместе с нашими.

Рассказ об умирающем офицере, требовавшем, чтобы умирающий немец не умирал рядом с ним, я слышал от лектора политотдела нашей армии майора Головки, потрясенного этим происшествием, задолго, за год или за два.

О чем, собственно, стихотворение? О взаимном ожесточении, мало свойственном мне, как и большинству людей, но охватившем обе воюющих армии уже к концу 1941 года. Недаром вшей тогда у нас называли «немецкими автоматчиками», а у немцев «die Partisanen».

Трофейных лошадей скорее жалели, хотя однажды я видел, как повозочный бил огромных немецких битюгов именно за то, что они немецкие. Но к людям по эту сторону фронта относились хуже, чем к лошадям, — как ко вшам.

Впрочем, больше на словах. На деле даже тогда большинство пленных немцев сталкивались скорее с национальной жалостливостью, чем с национальной ожесточенностью.

В «Госпитале» были строки:

Сожженные на собственных бутылках,
обгрызанные, как мышью калачи,
вторично раненные на носилках,
молчим.
По лесу автоматчики скользят.
Кричать нельзя.

Мне они тогда нравились, а первая и третья строка нравятся и сейчас. Грустно было с ними расставаться, но пришлось — они затягивали действие.

Так я тогда учился немаловажному искусству вычеркивания, искусству, дающемуся так редко. Поэты куда получше меня — скажем, Маяковский — его так и не освоили. Жизнь, которую я жил четыре года, была жестокой, трагичной, и мне казалось, что писать о ней нужно трагедии, а поскольку настоящих трагедий я писать не мог, писал сокращенные, скомканные, сжатые трагедии — баллады.

Позже я додумался до того, что жестокими могут быть не только трагедии, но и романсы. Еще позже, что о жестоких вещах можно писать и нежестоким слогом.

До сих пор в «Госпитале» мне нравится отношение к религии, понимание непростоты, неполноты, неокончателности ее упразднения.

Итак, многие месяцы я ходил по рано пустевшим улицам Крайовы (а впоследствии — по харьковским и московским улицам)* и, как Демосфен камешки, перекачивал во рту «Госпиталь», изредка меняя что-нибудь.

К тому времени, когда я стал читать «Госпиталь» товарищам-поэтам, мною вполне овладела гордыня — пропорционально трудовым затратам. Товарищам казалось, что стихи «в ряду». Мне, что стихи «из ряда вон». Товарищам казалось, что стихи хорошие, мне, что стихи — новые. Добавилось еще одно обстоятельство. Товарищи продолжали писать. Я бросил — на три года. Болел я так активно и целеустремленно, что часто думал — писать больше не придется и «Госпиталь» единственное мое стихотворение, которое нравится мне самому. Если совсем нехорошо быть

автором единственной пятиактной пьесы, то единственное стихотворение — это уж совсем шинель Акакия Акакиевича, сомневаться в которой сослуживцам не подобает. Не сомневаясь в шинели, я начал сомневаться в сослуживцах.

Так или иначе — хорошее это было время и вспоминать о нем — радостно.

«ДАВАЙТЕ ПОСЛЕ ДРАКИ...» Оказывается, стихи, как народы в старинных историографиях, бывают исторические и неисторические. Даже в таких небольших историях, как моя собственная.

С этим стихотворением никаких историй не происходило, разговоры о нем, скорее, впрочем, доброжелательные, были очень негромкими, и тем не менее вряд ли мне удалось когда-нибудь написать что-нибудь лучшее.

В собственных стихах мне нравится не средний или среднехороший уровень, а немногочисленные над ним взлеты, не их реалистически-натуралистическое правило, а реалистически-символические исключения.

Прыгнуть выше самого себя удастся редко. В этом случае я, наверное, прыгнул. Есть еще такой признак: волнение, которое я испытываю, читая это стихотворение вслух. Видимо, есть причины для этого волнения.

Только очень немногое вызывает у меня примерно то же чувство. Что именно? Конечно, «Старуха в окне», в свое время «Госпиталь», «Хозяин». (Остаток страницы не дописываю. Может быть, вспомню еще что-нибудь.)

«Давайте после драки...» было написано осенью 1952-го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах-убийцах оставалось месяц-два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему-то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что никакого твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной.

Повторяю: ничего особенного еще не произошло ни со мной, ни со временем. Но дело шло к тому, что нечто значительное и очень скверное произойдет — скоро и неминуемо.

Надежд не было. И не только ближних, что было понятно, но и отдаленных. О светлом будущем не думалось. Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого. Примерно в это же время я читал стихи Илье Григорьевичу Эренбургу, и он сказал: — Ну, это будет напечатано через двести лет. — Именно так и сказал: «через двести лет», а не лет через двести. А ведь он был человеком точного ума, в политике разбирался и на моей памяти неоднократно уга-

дывал даже распределение мандатов на каких-нибудь западноевропейских парламентских выборах.

И вот Эренбург, не прорицатель, а прогнозист, спрогнозировал для моих стихов (для «Давайте после драки...» в том числе) такую, мягко говоря, посмертную публикацию.

Я ему не возражал. <...>

Тюю же осенью, провожая знакомую, я сказал ей: — Я строю на песке, — и вскоре написал об этом стихотворение.

Итак, без надежд и перспектив я выстроил на песке «Давайте после драки...» и сразу же начал читать по компаниям — у Тоома, Тимофеева, Шахбазова. Позднее я объявил это стихотворение посмертным монологом Кульчицкого и назвал «Голос друга». Позднее, через год-два, у меня уже не было оснований для автопохорон. Драка продолжалась. Но осенью 1952 года ощущение было именно такое: после драки.

При переезде с квартиры на квартиру все мое имущество тогда умещалось в одном чемодане. Единственным достоянием, настоящими пожитками были четыре года войны. Они создавали какие-то права — пусть непризнаваемые. Я-то сам отказываться от этих прав не собирался.

Фанерные (или просто деревянные) обелиски, установленные на могильном холмике и увенчанные пятиконечной, жестяной, вырезанной из консервной банки звездой, устанавливались на солдатских могилах сразу после похорон.

Много лет спустя их заменяли бетонными обелисками же, еще позднее — каменными.

Почему обелиск был единственной фигурой, которую буквально вся армия признала достойной своих мертвецов? Кто знает. Если и была по этому поводу какая-либо инструкция, она только оформила задним числом это всеобщее пристрастие.

Да и можно ли назвать обелиском эту небольшую, иногда полуметровую пирамидку с усеченной верхушкой?

Стихотворения о голых людях «ИВАНЫ», «БАНЯ», «ПЛЯЖИ 46 ГОДА». Еще в детстве мне запомнилось рассуждение бродяги из «Янки при дворе короля Артура» о том, что в тюрьму он попал за высказанное публично мнение о голых людях — герцог в бане неотличим-де от слуги.

Это неправильное рассуждение. В особенности после больших войн тела человеческие выглядят очень различно.

Осенью 1945 года в бане румынского города Крайовы, довольно, впрочем, грязной и тесной, я от нечего делать сначала разделял моющихся на наших и румын, а потом примысливал к их шрамам возможные биографии. Там же, на выходе из бани, я сочинил «Иванов», а потом торопливо их записал, чтобы не забыть.

Иваны — всеобщее самоназвание наших солдат (да и офицеров)

в военные годы. Откуда оно пошло? От немецкого ли «Рус-Иван» или просто потому, что имя традиционно связывалось с простым народом?

Другие самоназвания: славяне (связано с одной из главных тем нашей пропаганды), елдаши (от тюркского «товарищ») — так иногда обращались к офицерам, а может быть, и друг к другу солдаты среднеазиатского происхождения.

В словах «Иваны» и «слювяне» гордости было больше, чем иронии.

В стихотворении — ни слова о голых людях, но, по-видимому, бесстрашно парившиеся солдаты...

Н. Н. АСЕЕВ И ВОЖДЫ

О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:

— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.

После этого он риторически воскликнул:

— А Сурков что?

У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.

В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов, заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто взыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

Не помню, как откестился Николай Николаевич от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием.

Перед самой войной был прием писателей у Сталина и Асеева так ласкали, что, когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился: — Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!

Обласканный и убогаторворенный Асеев попытался содейть родной словесности малую пользу, объяснив Сталину, что Ванда Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует. На что ему было отвечено, что б не лез не в свои дела.

Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь.

— Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь, за хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра, и зимой тоже. Пишут номера на спине мелом, у кого мел осыплется, того в очередь не пустят.

— Так кой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич?

— 51-й миновал.

— А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь?

— Недопонимал.

В Чистополе он написал поэму «Городок на Каме» со строками (цитирую по памяти):

Вот народ, что работает ловко и ладно,
А живет хладно и гладно.

И еще:

Вот он мечется, мочится, мучится.

Добрые люди послушали и стукнули куда следует. Асеев предстал перед чьими-то светлейшими очами.

Докладывал и вообще командовал А. С. Щербаков, еще недавно — друг-приятель по Оргкомитету Союза писателей, а сейчас — генерал, тучный, сырой, тяжело ступающий, с большими правами насчет продления или непродления жизни и смерти.

Щербаков топал по залу заседания и орал:

— Зачем вы так написали?

— Так это же правда, Александр Сергеевич.

— Кому нужна ваша правда?

И Асеев, столь поздно узнавший, что такое настоящая жизнь, выпал из Комитета по Сталинским премиям, а также из других писательских обоем.

Еще раз, много позднее, он переведался с вождями. Дело было в 1954, если не ошибаюсь, году и писатели были вновь приглашены к руководству. Писателям дали выговориться. Асеев говорил о том, что крупноталантливых людей нельзя посылать на фронт, что вот послали Кульчицкого, а его убили.

Вообще говоря, в Асееве до смерти жил запал пацифиста двадцатых годов, ненависть ко всякой войне, кем бы и за что бы она ни велась.

Мне он говорил:

— Я вам ваших военных стихов не прощу. <...>

Когда Асееву не дали Ленинской премии, заголосовали на Комитете, он позвонил мне и долго, открытым текстом ругал всех державцев и милостивцев. Очень ему хотелось премии и деньги уже были распределены.

Я (Асееву):

— А ведь они не виноваты, Николай Николаевич. Они хотели, чтобы у вас была премия.

— Так в чем же дело?

— А посчитайте: Ермилова вы обложили в поэме, Грибачева — в статье, о МХАТе написали:

И красное знамя
серенькой чайкой
На мхатовском занавесе заменено.

А ведь у МХАТа голоса три в Комитете. Так вот и набираются отрицательные голоса.

Асеев эту не премию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил — ни Комитету, ни всему человечеству.

КРУЧЕНЫХ

Иногда я встречал у Асеева А. Е. Крученых. Странная и в своем роде единственная судьба у этого человека.

Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневное восклицание Ходасевича «Нет, я умен, а не заумен!» — могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения, а если не всегда ее достигали, то вспомните, какие Галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников.

Крученых ни к чему не стремился. Изобретя слово «заумь» (оно, как и слово «бездарь», сначала произносилось с ударением на втором слове), Крученых действовал за умом, не очень далеко от ума, но все же не на его территории.

Полтора десятилетия дадаизма и сюрреализма, труд полупоколения талантов Франции, Германии, Италии, Югославии был выполнен в России одним человеком. Современники наблюдали его усилия с любопытством, иногда — сочувственным, чаще — жестоким. Крученых был отвлекающей операцией нашего авангарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу.

Ко времени нашего знакомства Крученых был на самом дне. Давным-давно выброшенный из печатной литературы в литографированные издания, давным-давно лишенный и литографии, он был забыт. Не знали даже, жив ли он.

Между тем он был жив и нуждался в одеянии и пропитании. Пусть самых приблизительных.

У Асеева его всегда угощали курой.

Помню некоторые из его разговоров.

— У нас, футуристов — у всех были двойные имена: Владимир Владимирович, Николай Николаевич, Давид Давидович (Бурлюк), Василий Васильевич (Каменский).

— А Вы?

— У меня тоже почти двойное. Я называл себя не Алексеем Елисеичем, а Алексеем Алексеевичем. <...>

Когда Крученых стукнуло 80, была организована складчина (по пятерке) и обед в одной из комнат Союза писателей. Речи на обеде произносили, естественно, юбилейные. Внесший свою пятерку и немедленно напившийся Смеляков восстанавливал правду и поправлял ораторов:

— Значительный поэт Крученых? Нет, ничего себе.

— Крупный вклад в литературу? Нет, ничего особенного.

Рядом со мной сидел Кудинов, которому Литфонд поручил отдать Крученых 300 рублей вспомоществования. Угнетенный собственной интеллигентностью, он мучился и не знал, как это сделать, чтобы не обидеть юбиляра.

Я ему посоветовал отдать просто, без затей.

После одной из речей Кудинов вскочил и сказал:

— А это Вам на костюм, от Литфонда.

— Сколько? — спросил Крученых деловито.

— Триста.

Крученых нетерпеливо утихомирил очередного оратора, пересчитал мелкие купюры, а потом снова стал слушать речь о своем большом вкладе в русскую поэзию.

ЭРЕНБУРГ

Второй раз я увиделся с Эренбургом в 1949 году. Я начал писать стихи — после многолетнего перерыва. Когда написалась первая дюжина и когда я почувствовал, что они могут заинтересовать не меня одного, я набросал краткий список писателей, мнение которых меня интересовало. Эренбург возглавил этот список. Я позвонил ему; он меня вспомнил. Я пришел к нему на улицу Горького.

Тщательно осведомившись о моих жизненных и литературных де-

лах, Эренбург как-то неловко усмехнулся, протянул мне лист бумаги и сказал:

— А теперь напишем десяток любимых поэтов.

Это была игра московских студентов, очень обычная. Писали десяток (редко дюжину) лучших поэтов мира, или России, или советских, или десяток лучших молодых. В последнем случае десятка иногда не набиралось.

Иногда писали десяток не лучших, а любимых.

Однажды писали даже десяток худших. Потом листочки сравнивались, любовь подсчитывалась, выводились общие оценки. Под вкус подводилась математическая (скажем точнее, арифметическая) база. Некоторые методы современных социологических опросов были найдены и применены двадцатилетними студентами Московского института Союза писателей.

Оказалось, что Эренбург, которому в то время было около 60, продолжал играть в эту игру. Я взял бумагу, подумал, начал писать, снова подумал.

Мои дела, жизненные и литературные, были достаточно серьезными. С жизнью было проще, определеннее. Устойчивое положение инвалида Отечественной войны 2-й группы давало мне не только все необходимые справки, но и право жить в Москве и малую толику пенсии (810 рублей). Сложнее было со стихами. На войне я почти не писал по самой простой и уважительной причине — был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков. После войны, в Румынии, когда все дела кончились, а новые еще не начались, написал несколько баллад. Потом начались годы болезненные и бесплодные. Я ступал на поэтическую сцену как моряк, вернувшийся из восьмилетнего плавания, что и говорить, земля ходила у меня под ногами.

Таковы были мои дела, жизненные и литературные. Я писал список десяти любимых, поглядывал на Эренбурга и понимал, что то, чем мы сейчас с ним занимаемся, тоже дело, очень важное. По сути, мы фиксировали в лицах, именах свои эстетика. Сравнивали их. Наверное, многое в наших отношениях определила похожесть двух списков.

Надо сказать, что мы играли в эту игру еще многие десятки раз.

Имена в наших списках ни разу не совпадали полностью. Но некоторые поэты переходили из одного списка в другой. Николай Алексеевич Заболоцкий, долгие годы фигурировавший только на моих листках, перекочевал на эренбурговские и уже навсегда остался там и в его сердце. А с его листков на мои также перекочевал Осип Мандельштам.

Попробую припомнить список, скажем, самых значительных поэтов века — не свой, а эренбургский. Такой список мы писали чаще всего. Может быть, в огромном хозяйстве, именуемом архивом И. Г. Э. и ныне хранящемся в фондах ЦГАЛИ, иные из этих листков хранятся до сих пор. Итак, десятка лучших, значительнейших поэтов двадцатого века.

Конечно, там были Блок, Маяковский, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Есенин. Эти шестеро — всегда и бесспорно. Но были также Ахматова, Хлебников, позднее стал появляться Заболоцкий, здравствующих современников мы не писали или писали отдельно.

Не было Белого, Асеева, Сельвинского, Волошина, Ходасевича, Сологуба. Это несмотря на очень прочные отношения, дружеские или литературные, связывавшие И. Г. со многими из них.

Он вообще твердо разделял понятия: хороший человек и хороший поэт, любимый друг и любимый поэт.

Во время последней нашей встречи, состоявшейся за сутки до его смерти, мы не писали списков, но разговор о поэзии и поэтах возник снова. Я хорошо помню, как И. Г. сказал:

— Для меня лишь Марина и Мандельштам. Хотя я понимаю, что значение Пастернака больше. — Кажется, он сказал: конечно, больше. Разговор шел о любимых современных поэтах.

И. Г. говаривал: — Поэзия это то, что не может быть выражено другими искусствами. Этот афоризм фундировал отрицание, например, поэмы, как формы поэтического повествования. Так называемая лирическая поэма, то есть длинное лирическое стихотворение или цикл лирических стихотворений, не отрицалась. Сдержанно относился И. Г. к поэмам Сельвинского и Твардовского. Вл. Корнилов, читавший ему свои большие вещи, не показался. Впрочем, исключений было много. Поэмы Мартынова, например, в которых элемент повествования был настоящей, чем у Твардовского, — очень нравились.

Точно так же, при яростном отрицании повествовательной, литературной живописи первым мастером века считался литературнейший Пикассо.

В этом видится важная особенность мышления И. Г. — он более всего почитал факты. Любил теоретизировать, но факты ценил больше теорий. Когда его эстетические афоризмы начинали конфликтовать с фактами, он легко уступал.

Не так уж много читал И. Г. из современной прозы, следя за десятком-двумя литераторов.

В отношении современной музыки был достаточно беззаботен. Спрашивал: — А кто такой Соловьев-Седой? Хрущев сказал: вот послушай с утра Соловьева-Седого и весь день легко на душе.

Но текущую русскую поэзию знал основательно — и любимое и не любимое.

Попробую припомнить некоторые его мнения.

Об Алигере говорил: она поэт, средний, но поэт. Не плохой, а именно средний. Ценил мужество Алигера, активность, доверял ей, часто с ней виделся.

Часто говорил, что наши молодые писатели талантливее наших молодых художников, но что художники — порядочнее, честнее. Это была одна из любимейших его поговорок. Однажды сказанная, она стала вли-

ять на его конкретные мнения. Очень интересовался молодыми поэтами — без раздражения, свойственного, скажем, Ахматовой или Маршаку, с доброжелательной иронией, в которой доброжелательства было больше, чем иронии.

Стихи Евтушенко не любил, но под некоторым нажимом признавал его подлинную талантливость. Рассказывал, что в Италии какой-то журналист так пристал к нему с расспросами о Евтушенко, что он раздраженно сказал:

— Да у нас десять таких поэтов, как Евтушенко.

— Десять Этусенко! Великая страна, — заявил взволнованный итальянец.

История нравилась И. Г. и масштабы зарубежной славы Евтушенко не вызвали у него обычного писательского злословия.

Еще одна излюбленная эренбурговская история об Этусенко.

Пикассо рассказывал И. Г., что Евтушенко явился к нему без приглашения, но с фотографиями. Пикассо это не понравилось. Фотографов он мог бы пригласить и сам, и он сказал Евтушенко: — Бывал у меня один русский поэт, тоже высокого роста — Маяковский. Но тот шел впереди толпы, а вы шагаете в толпе».

Интересно, что о Вознесенском Пикассо говорил добродушнее. — Кажется, похож на Реверди, — говорил он И. Г. По-русски Пикассо не понимает.

Сам Евтушенко рассказывал мне, что, видя его, Эренбург начинал улыбаться еще издали, как будто ему показывали что-то очень смешное.

Был в серьезной претензии, когда на правительственном приеме Евтушенко начал оспаривать правомерность термина «оттепель», утверждая, что на политическом дворе не оттепель, а настоящая весна. Не без восхищения рассказывал о том, как смело Евтушенко возражал Хрущеву на каком-то другом приеме.

В общем, деятельность Евтушенко его интересовала, а поэтическая деятельность чаще всего раздражала.

Были люди, о которых он всегда говорил с «но» и «однако» — Кирсанов, Асеев, Сельвинский. Их стихи — не нравились. Место в поэзии для них отводилось только в подсобке. Выше всего в поэзии Эренбург ценил «содержание», смысл и «что-то» неопределимое, верленовскую музыку, магию. У Кирсанова же музыка и магия были определяемыми.

Во время своей последней болезни И. Г. не то чтобы не хотел умирать, а не собирался умирать. Он и думать на эту тему не хотел. За несколько дней до конца, в последней неделе августа он спросил у меня:

— Как вы думаете, сколько меня еще будут заставлять лежать?

— Недель шесть, наверное.

— Что вы, я не вынесу. Они сами говорят: недели три.

Очень ему хотелось встать, выздороветь, съездить в Швецию.

Он был почти счастливый человек. Жил, как хотел (почти). Делал, что хотел (почти). Писал, что хотел (почти). Говорил — это уже без почти, — что хотел. Сделал и написал очень много. Кпд его, по нынешним литературным временам, очень велик.

Его «почти» — было доброе «почти». Оно не примешивалось к счастью, не приправляло его, не отравляло, а скапливалось в отдельные, цельнонесчастливые периоды. Тогда Эренбург был и угрюм, и бездеятелен. Угрюмство и нежелание работать у него совпадали.

На последнем или предпоследнем юбилее он сказал — с трибуны большого зала Дома писателей:

— За прошлый год я тринадцать раз ездил за границу и написал двадцать шесть глав в свою книгу воспоминаний. — В этот миг он был счастлив. И в тот «прошлый» год он тоже был счастлив.

Довольно долго угрюмый период длился в 1963 году — после «мартовских ид», как И. Г. именовал мартовские встречи Хрущева с писателями. Основательно обруганный уже в первый день встречи, И. Г. не пошел на второй, сидел дома, нервничал, тосковал и ждал вестей. Помню звонки самые странные. Звонила, например, никогда прежде не звонившая, по сути дела, незнакомя Ш., сказавшая:

— Вам будут говорить много неверного о словах Никиты Сергеевича, но вас очень любят и все будет хорошо.

Звонил корреспондент, если не ошибаюсь, «Рейтер». Трубку взял И. Г. Послушал и сказал:

— Говорит: все знают, что вы смелый человек. Скажите же, наконец, что вы обо всем этом думаете.

К вечеру пришел Каверин и Паустовский с новостями очень скверного свойства. Поучительно было наблюдать мрачного, подавленного Эренбурга, мрачного, возбужденного Паустовского и улыбающегося Каверина, который сказал:

— А я, знаете, так устроен, что уверен, что все обойдется. Просто не могу поверить, что будет плохо.

На него немедля обрушились, недвусмысленно объясняя его оптимизм крайней молодостью и неопытностью. А Каверину тогда уже было за 60.

Правя мемуары, я, конечно, иногда разрушал музыку фразы, которая всегда выговаривалась прежде, чем выстукивалась на машинке. Вообще говоря, мемуары читали (до журнальных редакторов) всегда и по главам — Наталья Ивановна (она их перепечатывала), Любовь Михайловна, Ирина Ильинична, я и Савич. Кроме того — так сказать, узкие специалисты. Например, главу о Назыме — Бабаев, которого я пригласил. Главу о Маркише — родственники. Главу о Бабеле — Антонина Николаевна и, наверное, Мунблит. Мелкие справки наводились по малому «Ляруссу» и Большой Советской Энциклопедии (2-е издание). В случае надобности

читалась всякая дополнительная литература. Эренбург слушал замечания, даже требовал их, спорил, часто соглашался. Один из важнейших законов, которые он выработал для мемуарной книги,— не писать о плохих людях (кажется, почти никто из них не удостоен отдельной главы) и не писать плохого о хороших людях. Эренбурга обвиняли в очернительстве, а закон, оказывается, толкал на лакировку.

Эренбургу плохо давались описания внешности героев мемуаров, манеры их поведения.

Я как-то спросил у него:

— Почему обо всех ваших героях вы пишете «застенчивый»?

И он не смог это объяснить.

Зато когда надо было объяснить, куда тот или другой герой гнул, Эренбург был на высоте.

Очень долго писалась глава о Сталине. Несколько лет Сталин был одной из главных тем разговоров и размышлений (конечно, не у одного И. Г.). И. Г. пытался определить, выявить закономерность сталинского отношения к людям — особенно в 1937 году — и пришел к мысли, что случайности было куда больше, чем закономерности. Однажды я спросил у И. Г., почему Сталин любил его книги. Отвечено было в том смысле, что ценились их политическая полезность и международный охват. Вообще говоря, Сталин, смысл Сталина был орешком, в твердости которого И. Г. неоднократно признавался.

Дачные книги — особенно Чехова,— заложены не только листьями, цветами и листьями травы, но и землей. Земляные закладки. Работал в оранжерее — и читал.

Две сестры, персонажи без речей в этой семейной пьесе, привезенные из — кажется — Франции после войны и поселенные на даче, наверху. Я с ними несколько раз сидел за общим дачным обеденным столом. Я ничего о них не знаю. И. Г. говорил, что барышнями они выписывали из Франции (кажется) газеты. Они были седые, худощавые, с одинаковыми лицами. Обе всегда в одинаковых черных платьях. Вопросов за столом им не задавали. Л. М. смотрела на них дисциплинирующим взглядом.

Приехала команда из больницы и медсестра, крепенькая, сорокалетняя, шепнула мне: — Документы проверьте. Я проверил. Показали без обиды. Потом ловко, сноровисто, вмиг отбросили простыни, сняли белье, и я увидел то, что никогда не видел до этого: матово-белое, без желтизны, худое, с еле намеченным старческим животом, бедное-бедное тело.

Так же ловко, ладно, сноровисто, но без всякой уважительности его стащили на носилки, обернули, накрыли, унесли.

Илья Григорьевич, которого все — даже Незвал в поэме и Шолохов в речах — называли именно так: Илья Григорьевич, — в последний раз уехал из дому, из которого он так любил уезжать.

ПОЧТИ НИЧЕГО

В XX веке разговоров не записывают, особенно доверительных, — в благодарность за доверие.

Запоминают разговоры плохо — вся память растаскана впечатлениями бытия.

Так что я почти ничего не запомнил из разговоров с Заболоцким.

Их было много. Не могло не быть. Три недели мы провели вместе, зачастую наедине — в купе международных поездов Москва — Вена — Рим и Рим — Вена — Москва и в итальянских отелях. Были и еще разговоры: немногие и недолгие до поезда, многие и продолжительные — после.

Однажды, уже в 1958 году, летом, я приехал к нему в Тарусу, и мы провели вместе несколько часов. Все это было в 1956—1958 годах, в последние два с половиной года его жизни.

Что было пережито вместе? Италия. По телевидению впервые выступали вместе. В Сикстинской капелле вдвоем час задирали головы. Теплый, не остывший еще труп Н. А. я (с Бажаном и Бесо Жгенти) поднимал с пола и укладывал на письменный стол. И т. д. и пр. А что запомнилось? Почти ничего. В особенности из разговоров. Одно могу сказать в утешение: больше говорил я. Н. А. больше слушал, усмехаясь и поблескивая стеклами очков. Только когда сильно выпивали — так случалось несколько раз, — Н. А. говорил помногу: обдуманное, веское, почти докторальное.

Здесь — без хронологии — запишу то, что из этих разговоров, а точнее, из его высказываний помню.

Рано утром просыпаемся в Равенне, в гостинице. После тяжелого дня — с могилой Данте, с могилой Теодориха, с поездкой в загородные церкви, где Прокофьев, обычно безучастный, с изумлением обнаруживает в византийской мозаике нечто православное, а ученый монах справляется о здоровье академика Лазарева, с официальными обедами и многими речами. Здесь мощное общество итало-советской дружбы. В этот ли день нас возили в итальянский колхоз, где в правлении под стеклом переводы советских брошюр о кукурузе? В этот, наверное. В этот ли день мы побывали в городке Альфонсино, где все население минус два-три

человека голосует за коммунистов? Альфонсинские матери протягивали нам младенцев для благословения. Был митинг. Мы говорили речи. Нас награждали огромными, в ладонь, медными медалями в память самоосвобождения Альфонсино от фашистов. Может быть, в этот день мы побывали в Альфонсино, или на мызе, где скрывался Гарibaldi, или в приморском городке, где у рыбацких лодок — флаги с ликами святых. Был долгий тяжелый день, наполненный словами и делами, а наутро мы проснулись и пошли погулять. Равенна — маленький городишко, белый, чистый, каменный, похожий, как многое в Италии, на Крым, только без гор и без моря. Очень скоро мы вышли в поле и пошли по неширокой дороге, обсаженной деревьями, кажется, пиниями — итальянскими соснами.

И Заболоцкий сказал фразу, которую я запомнил точно:

— Здесь мне хорошо дышится.

Вообще в Италии ему дышалось хорошо. Больной (год оставался до смерти), тучный, по всем статьям идеальная противоположность типу глоттоттера, он легко переносил и жару, и многочасовые поездки в автобусах и сверхскоростных поездах (непривычных для него и Мартынова в большей степени, чем для других участников поездки), напряжение митингов, банкетов, интервьюирования и особенно частых изъяснений с итальянцами на волапюке из смеси малознакомых нам иностранных языков. Странное дело! Мартынов со своей полусотней латинских и полудюжиной итальянских слов радостно бросался в диспуты любой сложности. Заболоцкий, лингвистически столь же подкованный, помалкивал.

Мы никогда или почти никогда не говорили с Н. А. о его темницах. Он не рассказывал, я не расспрашивал. Однажды только — к слову пришлось — я спросил, встречал ли он кого-нибудь в ленинградском Большом доме? Заболоцкий ответил, что однажды в коридоре по недосмотру надзирателей он столкнулся с Диким и тот успел сказать: — Чтобы я на них когда-нибудь стал работать!

— А потом вышел,— добавил Н. А.,— и сыграл Сталина в кино.

Однажды в Тарусе, когда я провожал Н. А. на дачу Оттена, где нас ждали Паустовский и Семенин, мы проходили мимо недостроенного дома. Может быть, это был не дом, а котлован. Заболоцкий сказал:

— А ведь я все строительные профессии знаю. И землекопом был, и каменщиком, и плотником, и прорабом большого участка.

В другой раз на общий чересчур вопрос о шести лагерных годах: — Ну, как там было? — он ответил, не распространяясь:

— И плохо было, и очень плохо, и очень даже хорошо.

Кажется, за все шесть лет он написал одно только стихотворение

(не «Слепой» ли?). Но знаю это не от него, а от кого-то из близких ему. «Где-то в поле возле Магадана» написано поздно.

Несколько раз я приносил Заболоцкому книги — из нововышедших, и почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полоков:

— Что же мне, Тютчева и Баратынского выбросить, а это поставить?

Полок было мало, и книг было мало. Э т о г о — текущей литературы — не было, кажется, вовсе, кроме неотвязного минимума дареных книг с надписями. Недавно я осмотрел у Екатерины Васильевны библиотеку Заболоцкого.

Тютчев — в издании Маркса. Баратынский — двухтомное предреволюционное издание. Русские классики — в том числе марксовские же Достоевский и Куприн. Неполный (три тома) словарь церковнославянского языка и очень редкий «Библейский словарь» архимандрита Никифора. Книги, связанные с Грузией. Языка Н. А. не учил, даже, кажется, не пробовал, но историю, этнографию старался освоить. Н. А. не был ни книгоцеем, ни библиоманом. В отличие от Мартынова он не странствовал по букинистическим магазинам, покупая редко, и только самое нужное. Много ли он читал? Не знаю. Может быть, и много, но немногие книги, самонужнейшие. Точно так же как, штудировав «Слово», он обращался прямо к Лихачеву, а размышляя о судьбах Вселенной — прямо к Циолковскому, минуя популяризаторов, добирался до первоисточников сведений, он и в выборе книг, подобно Рахметову, полагал, что все необходимое есть в нескольких главных книгах, что их-то и нужно знать, а читать все остальное не обязательно.

В разговоре Н. А. был пост. Факты, им сообщаемые, были, как правило, не книжного, а жизненного происхождения. Любил и умел слушать. Я, очень поздний знакомый Н. А., почти не наблюдал веселящегося, шутливого Н. А., о котором сохранилось множество рассказов.

О Мартынове он говорил сначала ласково:

— Как поживает милейший Леонид Николаевич?

Потом раздраженно:

— Что же это печатает ваш Мартынов?

Чтил Мандельштама и с доброй улыбкой рассказывал, как тот раздвигал под орех его стихи.

Высоко чтит Хлебникова.

О Пастернаке говорил как-то сверху вниз. Впрочем, оговаривался, что близок ему поздний Пастернак — с 1941 года. <...>

Об уме Сельвинского отзывался без уважительности.

Раза два с ухмылкой говаривал, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого.

Я хорошо помню свою первую встречу с Заболоцким — благо она происходила на глазах у всего человечества, а точнее — на глазах у всех советских телезрителей.

Дело было, кажется, в 1956 году. Вышел первый номер «Литературной Москвы», и мы оба вместе с Асеевым, Сурковым и еще кем-то были званы выступить на телевидении.

Телевидение было тогда свежайшей новинкой. Я выступал в первый раз. Заболоцкий, наверно, тоже. В студии на Шаболовке стояла чрезвычайная жара — градусов в сорок. Нас мазали, пудрили и долго, вдохновенно рассаживали. Мы оба были подавлены и помалкивали.

Командовал передачей Сурков. По его плану где-то в самом конце отведенного «Литературной Москве» часа он должен был сказать: «— А вот поэты Заболоцкий и Слуцкий. Вы видите, они оживленно разговаривают друг с другом!» — После чего мы должны были прекратить разговор, ослабиться и почитать стихи — сначала Н. А., потом я.

Передача шла, до конца было еще далеко, я сидел под юпитером, плавился, расплавлялся и думал о том, что вот рядом со мной помалкивает Заболоцкий. Оба мы помалкивали и думали свои отдельные думы, нимало не контактируя друг с другом.

Когда Сурков сказал запланированную фразу и глазок телекамеры уткнулся в нас двоих, это застало нас врасплох. Очевидцы свидетельствуют, что мы как-то механически дернулись друг к другу, механически ослабились, после чего Н. А. начал читать — как обычно, ясно выговаривая каждое слово, серьезно, вдумчиво, четко отделяя текст от себя, от своего широкого лица, пухлых щек, больших очков в роговой оправе, аккуратистской прически, от всей своей аккуратистской наружности, плохо увязывавшейся с текстом.

Это было первое знакомство с Заболоцким, а первое знакомство с его стихами состоялось лет за двадцать до этого — в Харькове. Заболоцкий впервые предстал предо мною цитатой в ругательной статье о Заболоцком, островком непарели в море петита, стихами, вкрапленными во враждебную им критику.

В России не стоит ругать, цитируя. Одна из главных русских традиций — традиция жалости к поруганному, униженному и оскорбленному. Даже у тех, у кого не было жалости, был интерес. Цитата запоминалась, опровержения забывались, сливались в ровный гул, хорошо оттенявший стихи.

Сам Н. А. относился к ругани иначе. Осенью 1957 года (в октябре)

мы сидели в просторной горнице правления Союза писателей, томилась в ожидании машины, которая должна была отвезти нас на вокзал. Мы ехали в Италию, в Рим.

Н. А. томился дополнительно. Он забыл папиросы.

В комнату вошел невысокий обезьяновидный человек. Не вошел, собственно, а только сунулся — искал кого-то.

Н. А. так и кинулся к нему — попросил папиросу, и вошедший с радостной готовностью сказал:

— Пожалуйста, Николай Алексеевич. — И ушел.

Н. А. сел, затаился раз и другой, а потом, блаженствуя, спросил:

— Интересно, кто же это был — с папиросами?

Я ответил:

— Ермилов.

Н. А. бросил папиросу на пол, растоптал и нахмурился.

Ермилов был петитом статьи, в которой островками плавали двадцать лет назад стихи Заболоцкого.

Немалые (сравнительно) командировочные, которые были у нас в Италии, Заболоцкий тратил занятно. Купил много дорогих лекарств — для сына своего старого друга. Купил очки в золотой оправе — для себя. Очки в золотой оправе ему очень хотелось — наверное, всю жизнь. Он и смущался этого редкостного и барственного желания, и холил его. Так или иначе, разговор о них возник уже в поезде. А в Риме очки были куплены за немалую сумму, вружены на нос, и лицо Н. А. окончательно вырвалось из всех мировых стандартов поэтического лица.

Рипеллино, впрочем, нежно любивший Заболоцкого, написал, что Заболоцкий похож на бухгалтера или фармацевта.

Это обидело Н. А., и я хорошо помню, как он сказал о Рипеллино:

— Сам-то он похож на парикмахера.

Что было истинной правдой.

У Н. А. было лицо умного и дельного человека, очень сдержанного, Чувства, эмоции на нем отражались редко — чему, кстати, способствовали очки. Никаких кожных знаков вдохновения не было. В одежде, всегда тщательной, прическе, походке — не было ничего рваного, показного, никакого романтизма в смысле темноты и вялости. Молва представляет поэта в виде Владимира Ленского, забывая ироническое отношение Пушкина к своему созданию.

В Николае Заболоцком не было ничего от Владимира Ленского. Что же касается бухгалтеров, то это, как правило, люди дельные и точные. На войне из бухгалтеров выходили превосходные штабисты.

Фармацевты также люди ученые и по самой сути своей профессии — точные и дельные.

Так что Н. А. мог бы и не обижаться на Рипеллино.

Очки и лекарства были куплены, денег осталось довольно много. Я напугал В. М. Инбер, что ей не отчитаться за представительские, которые она держала для всей нашей «северной» тройки поэтов, и Сухофрукт (так Заболоцкий тайно, но упорно именовал Веру Михайловну) выдал нам 30000 лир.

Тратить эти тысячи надо было почти немедленно, и вот за день до отъезда посольская молодежь повела Твардовского, Заболоцкого и меня к дяде Тому. Так в посольстве перекрестили де Тома, содержателя небольшого оптового склада текстиля, где советским продавали со значительной скидкой.

Здесь, помимо всего прочего, мы купили по отрезу на костюм — по три метра черной, плотной дорогой шерсти, торжественной и академической даже в куске. Я свой отрез продал несколько месяцев спустя. Твардовский — не знаю, а Н. А. заказал костюм. Портной принес его в окончательном виде вскоре после того, как мы с Бажаном и Жгенти втащили тяжелый, тепловатый труп Н. А. в полосатой спальню пижамке на стол. Кажется, в этом костюме Н. А. и похоронили.

ТВАРДОВСКИЙ

«Чудь белоглазая» называл его начитанный в летописях Асеев. И действительно, у Твардовского были совершенно белые глаза. На круглом женском лице, наверное, красивом. Татьяна Алексеевна Паустовская, на которую он был очень, по-братски похож, считалась известной красавицей.

Молодым я его не знал, не видел, а портрет Сары Лебедевой представляет вдумчивого юношу, деревенского отличника.

Росту он был высокого и на моей памяти, т. е. с середины пятидесятых годов — грузен, болезненно тяжеловесен. Вдвоем с Сурковым глубокой ноябрьской ночью (1965) мы тащим его пьяного по аэродрому, и до этого, быстро напиваясь, он приваливался к моему плечу, так что вес его я хорошо помню. Худая, он быстро хорошел и темно-серые волосы, очень обильные, шли к загорелому лицу. Таким я его видел в последний раз в Союзе писателей на партсобрании — подтянутым, моложавым, загоревшим.

Первое отчетливое о нем воспоминание — лето 1936, наверное, года. Я иду через весь город в библиотеку, чтобы прочитать в свежей «Красной нови» «Страну Муравию». Поэма мне не понравилась. Коллек-

тивизацию я видел близко. Ее волны омывали харьковский Конный базар, на котором мы жили. В поэме не было ни голода, ни ярости, ни жесточечности ни в той степени, как в жизни, ни в той степени, как в поэмах Павла Васильева или у Шухова и Шолохова. Не понравилась мне и технология, фактура, изобразительная сторона. Выученикам футуристов и Сельвинского все это, естественно, казалось чересчур простеньким.

Много лет спустя Светлов рассказывал, как в каком-то южном санатории Твардовский попросил его прочитать «Страну Муравию».

— Есть в этом дурной деревенский наив, но блага вы получите неисчислимые.

Светлов был прав — и в оценке и в пророчестве.

Тем не менее поэма не забывалась, и неприемлемым в ней было что-то новое, не бывшее еще в литературе.

Когда я приехал в Москву, Твардовский гремел в официальных небесах, занимал значительную часть вакуума, образовавшегося после убывания из столицы его талантливых сверстников. Стихи его, иногда печатавшиеся в газетах или той же «Красной нови», не нравились, не интересовали. Худого о нем, однако, слышно не было.

Для кружка моих предвоенных товарищей реальными противниками, которых надо то ли свергать, то ли просто сменить, казались скорее Симонов, Долматовский, Матусовский, Алигер. Они были горьковские, как и мы. Они учились у тех же учителей. Они выучились не тому, что следовало, и писали не так, как следовало.

Твардовский тоже писал не так, как следовало, но он был других корней и другой темы. Он нас почти не касался.

В войну, когда во фронтовой печати начали появляться главы из «Василия Теркина», они сначала удивили своей непохожестью на жизнь. По мелочам, по деталям все было увидено, подмечено, схвачено. Но жестокое и печальное начало войны не выглядело ни жестоким, ни печальным.

В то же время «Василий Теркин» от главы к главе выглядел все талантливее, все звонче. Он нравился солдатам — куда больше, чем любые другие стихи, и солдаты не требовали от него верности жизни. Дела на фронте быстро улучшались, армия становилась все умелее. Пехота, для которой Василий Теркин первых глав казался недостижимым идеалом, подтянулась, и, как ни одно из произведений военной поэзии, «Книга про бойца» способствовала этому подтягиванию. Тип солдата, казавшийся начисто выдуманным, все чаще попадался на глаза и не скрывал своего литературного — от Василия Теркина — происхождения. Редкий случай в истории поэзии и большая заслуга перед военной историей.

Я читал продолжение «Василия Теркина» без раздражения, даже с удовольствием. Это была несомненная поэзия в отличие от прикладного, утилитарного, полухалтурного Фомы Смыслова. Но только не моя

поэзия, хоть и был я в ту пору изрядным эклектиком и нравились мне (как, впрочем, и сейчас) самые различные вещи.

Читал, но не перечитывал, хотя строки «Не зарвемся, так прорвемся» или «Я одну политбеседу повторял: не унывай!» запомнились на всю жизнь.

Первое, что у Твардовского понравилось мне полностью, было «Дом у дороги».

Война кончилась, отменив скидки, допуски на военное положение. Надо было писать о ней всю правду, и, вернувшись с войны, я обнаружил, что у Исаковского во «Враги сожгли родную хату» и у Твардовского в новой поэме эта правда наличествует, а у моих учителей, у Сельвинского в частности, отсутствует.

Хотя столь полное удовлетворение, как от «Дома у дороги», я от больших вещей Твардовского не испытал впоследствии ни разу, разве что от немногих его лирических стихотворений, хотя в «За далью — даль» он вернулся к своей главной линии — реалистического мифа, современной сказки, тем не менее после «Дома у дороги» стал для меня одним из самых главных современных поэтов.

Надо сказать, что в своем кругу я по этому вопросу был в почти полном одиночестве. Начисто не понимали, не принимали Твардовского Мартынов и Заболоцкий. У Кирсанова и Сельвинского интерес к Твардовскому был, но специальный. Именно его, а не своих официальных оппонентов они считали главным врагом, главной опасностью. Кирсанов сочинил большую статью для «Нового мира», изобиловавшую, как говорят, и политическими обвинениями. Будучи назначен редактором этого журнала, Твардовский обнаружил кирсановскую статью и с краткой сопроводителькой вернул ее автору.

Об эсеровщине, мужиковствовании Твардовского с бешенством говорил мне Сельвинский.

И тот и другой считали, что они правильно отображают линию, а Твардовский — неправильно. Однако и политическое и литературное руководство было совсем иного мнения. На основании многих разговоров у меня сложилось мнение, что Фадеев, еще в начале тридцатых годов замысливший повернуть нашу поэзию к народности, к национальности, к фольклорности, некоторое время надеялся, что для этого достаточно будет усилий лично ему знакомых и лично ему приятных Луговского и Сельвинского, если на них повлиять. Фадеев влиял, Луговской, Сельвинский (и многие иные той же примерно школы поэты) старались, но у Луговского выходило хоть и народно, но скучно, у Сельвинского — и скучно и ненародно.

Тогда Фадеев от немалого своего ума разыскал людей, для которых сельская тема, фольклорное оснащение, некрасовские традиции, хорей, понятность, все то, что тогда, в конце тридцатых годов, казалось обяза-

тельными атрибутами народности — были результатом не фадеевского влияния или изменения конъюнктуры, но результатом сердечной склонности, воспитания, жизненного опыта.

Так Фадеев пришел к Твардовскому и Исаковскому. Однако одновременно с ним пришли и массовый читатель и политическое руководство.

И Сельвинскому, и Кирсанову, и Асееву, и многим другим Твардовский действительно не нравился. Они от всей души не считали его поэтом и раздражались, когда я с ними спорил.

Однако эта неприязнь удваивалась, если не удесятерялась, оттого, что этого непоэта и власть, и читатель, и тот же Фадеев считали поэтом не только более нужным, но и более талантливым, чем они сами.

Кто был благороднее, рыцарственнее в этой распре?

А что такое, собственно, благородство, рыцарственность?

Друзья Заболоцкого (наверное, Алигер и Казакевич) собрали его стихи и в хорошем 1954 году отнесли их Твардовскому. Караганова им помогала.

Твардовский вернул все стихи, сказав, что ничего и никогда напечатано быть не сможет.

— Кроме, пожалуй, парочки вот этих, пейзажных.

— Все будет напечатано через два года, — сказал Заболоцкий и оказался прав.

Разговор был, по-видимому, столь оскорбителен, что до конца дней своих Заболоцкий относился к Твардовскому с полной и исчерпывающей враждебностью.

Понимал Твардовский, что Заболоцкому в том году стихи было нести практически некуда, что отказывает он не от места на страницах «Нового мира», но от литературы вообще?

Должен был понимать.

Вот случай менее крайний.

Сельвинский с бешенством рассказывал, что трагедию «От Полтавы до Гангута» Твардовский возвратил ему с такой мотивировкой:

— Наш журнал называется «Новый мир», а ваша вещь о войне и о давнопрошедших временах.

Одинокая молодость, опоздавшее на несколько лет признание, равнодушие мэтров ожесточили Твардовского.

Состояние поэтической профессии он оценивал иронически, к коллегам (ко всем или почти ко всем) относился плохо.

Правда, по-разному. Писавших похоже на него — презирал. Писавших непохоже — ненавидел. Может быть, это слишком сильное слово. Но «не любил» не выражает отношения даже в малой степени.

В купе международного вагона он сказал мне вполне искренне дословно следующее:

— Каково мне, Б. А., быть единственным парнем на деревне и чувствовать, что вокруг никого.

Продолжение тирады было прервано тихим смехом Заболоцкого.

В том 1957 году Твардовскому не нравилась вся русская поэзия, начиная с Некрасова. Есенин — особенно, но и Маяковский, Блок. О Пастернаке он выразился: — Конечно, не стал бы за ним с дубиной гоняться. — Это и было пределом его доброжелательства к Пастернаку.

Заболоцкому при мне он продекламировал немалый кусок из какого-то старого его стихотворения (кажется, из «Цирка») и добродушно сказал: — Ну и загибали же вы!

Доброкачественность Заболоцкого в ходе совместной поездки уже вполне выяснилась. Твардовский был полон к нему добрых чувств, но отношения к стихам утаить не мог.

Мартынову (и где! в Сицилии!) он сказал:

— Вот итальянцы пишут, что у вас есть интересные поэмы о Сибири. Надо бы познакомиться, потому что стихи-то ваши — невесть что!

Заходеру, принесшему в журнал «От А до Я» — первую свою детскую вещь:

— Вы думаете, мы потому не берем, что у вас фамилия не круглая? Потому что стихи — до двугривенного рубля не хватает.

Умел выбирать убедительные и действенные оскорбления и применял их не без удовольствия.

Однажды (по дороге из Италии) он сказал мечтательно: — Все хорошее, что было в советской литературе, проскочило случайно. — И начал перечислять: — «Тихий Дон», «Как закалялась сталь» и мой «Теркин». — Список был длинный и у каждого номера была своя печальная история — запреты, поносная критика, возражения власть имущих, например, Горького.

Себя он, конечно, причислял к проскочившим случайно. Но тогда, в 1957 году, не так уж часто оглядывался на непроскочивших. А потом стал оглядываться все чаще и чаще.

В. С. Гроссман с бешенством рассказывал:

— Он на каком-то приеме говорит мне: «Посмотри на Бубеннова, он похож на Чехова».

Дело, понятно, было до 49-го года, и Бубеннов в ту пору был просто молодой, быстро идущий в гору писатель. Но Гроссман никому и ничего не прощал, даже недогадливость. Эту недогадливость он, выражаясь словами Пушкина, вспоминал «со злобной радостью».

— Польский союз писателей послал делегацию. А нас несколько человек направили встречать их к границе. Встреча, банкет, гонор. А ночью залезли мы с ними в купе, стали они раздеваться на ночь, и трусишки у них такие драные, такие латаные.

Из всей этой тирады, слышанной тоже в купе в 1957 году, я точно помню только насчет трусишек. И неопишное выражение презрения на лице. Остальное вспомнано вприглядку — не по слову, а по мысли. В общем же разговоры Твардовского помнятся хорошо, может быть, потому, что там, кроме слова, всегда была мысль.

Кажется, в ответ на мое случайное замечание, что в украинском фольклоре Твардовский всегда пан, он нервно и настороженно:

— Говорят, небось, про меня, что я поляк, говорят?

— Нет, не говорят.

По Варшаве мы шли втроем с Твардовским и Заболоцким. Молча смотрели под ноги. Очень хотелось купить газету и узнать новости, накопившиеся за пять дней поездки. А денег — ни злогого. В конце концов злотый нашелся прямо на асфальте, и газета была куплена — без новостей.

Новости начались в Москве на вокзале, когда к каждому из нас пошло по родственнику (ко мне — брат, к Твардовскому — дочь), отвели в сторонку и сепаратно сообщили о снятии Жукова...

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

Весь русский XX век читал его. Все возрасты были покорны этой любви. Сначала это были старшие возрасты, интересовавшиеся думскими отчетами. К. И. рассказывал мне, когда разговор почему-то зашел о П. Н. Милюкове, что тот выписывал ему едва ли не первый крупный гонорар — сторублевку. Позднее — со времен «Крокодила» — массовой базой Корнея стали самые младшие возрасты, а в советское время все — от пенсионера до пионера.

Формально он был стар, очень стар, старше всех. Древний и расслабленный Маршак многократно подчеркивал, что Чуковский значительно старше его.

Но будучи прям, весел, строен, цветущ, тщателен в одежде, удивительно памятливы, работоспособен, обуреваем страстями и необычайно, остро, сильно, самостоятельно умен, К. И. в заселенном стариками Переделкине и во всей нашей малообновляющейся литературе казался путешественником во времени, путником, отбрасывавшим годы посохом. И умер он не от одной из болезней стариковского набора, а, по сути дела, случайно, как мог бы умереть любой молодой.

Корней рос не как дерево, а как большой завод. Не из случайно брошенного семечка, а по обдуманному плану. Только план он сам обдумывал и сам осуществлял.

Подтверждаю фактами.

Корней первый детский поэт в истории не только советской, но и русской поэзии. Однако «Крокодилу», написанному в 1917 году, предшествовала статья «Лидия Чарская», короткая и безжалостная расчистка почвы для всего, что было впоследствии сделано в детской литературе.

Вот как эта статья начинается:

«Слава богу: в России опять появился великий писатель, и я тороплюсь поскорее обрадовать этой радостью Россию.

Открыла нового гения маленькая девочка Леля. Несколько лет назад Леля заявила в печати:

«Из великих русских писателей я считаю своей любимой писательницей А. А. Чарскую».

А девочка Ляля подхватила:

«У меня два любимых писателя: Пушкин и Чарская».

«Своими любимыми писателями я считаю Лермонтова, Гоголя и Чарскую».

Эти отзывы я прочитал в детском журнале «Задушевное слово», где издавна принято печатать переписку детей, и от души порадовался, что новый гений сразу всеми оценен и признан. Обычно мы чествуем наших великих людей лишь на кладбище, но Чарская, к счастью, добилась триумфов при жизни. Вся молодая Россия поголовно преклоняется перед нею, все Лилечки, Лялечки и Лелечки».

У Чарской был по крайней мере один компонент великого писателя — великий успех. Корней этот успех сокрушил — веско и безжалостно. Такая победа — великая победа. Не вспоминают о ней разве потому, что она слишком велика — от противника не осталось ни дна ни крыши, не осталось даже воспоминания.

После удара, нанесенного Белинским, от Бенедиктова кое-что осталось, например книги в «Библиотеке поэта», выходящие и в наше время.

После расправы с Чарской — ничего: ни рожек, ни ножек.

В той же книге «Лица и маски» есть статья «Некрасов и модернисты» — предтеча всего чуковского некрасоведения; статья «О детском языке» — набросок книги «От двух до пяти»;

Статья «Шевченко», предшествовавшая его многолетним работам над литературой советских народов.

Когда это писалось и печаталось, общим местом было обвинение Чуковского в легковесности, в эстрадности. Его ставили рядом с Петром Пильским. От него хотели отшутиться.

А на самом деле вышло, что он один из самых сознательных и последовательных литераторов нашей литературы, что работы, начатые в 25 лет, продолжались и в 75, а в 80 лет — завершились.

На каких людей заносил свое легкое перо Корней! Список его противников, его жертв, его оппонентов — захватывающее чтение. Всякая

легкая и ранняя слава настораживала его, заставляла пустить в ход свои контрольно-измерительные инструменты.

Какие люди пытались от него отшутиться!

Оказалось, что с Корнеем шутки плохи.

Проверим — через 60, 50, 40 лет — его оценки, пересмотрим его приговоры.

Разве мы не думаем о прозе Мережковского и о стихах Гиппиус того же, что Чуковский осмелился 60 лет тому назад сказать об этих славных и знаменитых тогда писателях?

ОН БЫЛ ПРАВ. Если Чуковскому-критику будет поставлен отдельный памятник, на нем следовало бы написать именно эти слова. Он был прав, если не всегда, то слишком часто.

Он был прав, когда смеялся над эгофутуристами и когда извлек из забвения Слепцова. За одного Слепцова ему полагается вечная память и вечная благодарность.

Он был прав, когда в маленькой статье «Мы и они» предсказал появление массовой культуры и дал набросок ее теории.

Он был прав.

А ведь я взял едва ли не самую забытую, ни разу не переиздававшуюся, не перепечатанную полностью даже в собрании сочинений книгу Чуковского «Лица и маски». Только одну книгу из сотни его книг.

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с Осипом Максимовичем Бриком	3
Как я описывал имущество у Бабея	9
Вещмешок	10
После войны	11
К истории моих стихотворений	19
Н. Н. Асеев и вожди	26
Крученных	28
Эренбург	29
Почти ничего	35
Твардовский	40
Корней Чуковский	45

СЛУЦКИЙ Борис Абрамович

О ДРУГИХ И О СЕБЕ

Составление и подготовка текста Ю. Л. Болдырева

Редактор Т. Н. Троицкая

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 19.07.91. Подписано к печати 26.08.91
Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отг. 2,28.
Уч.-изд. л. 3,10. Тираж 4000 экз. Зак. 737. Цена 20 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;
П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»;
Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами».